

записями для себя. Пути, по которым блуждает взрослеющий замысел, моментальные фотографии эмоциональных состояний автора, фрагменты его внутренних монологов, соленые народные при словья, выписки из Библии, Геродота, Бозция, Данте, Честертона, Платонова, Розанова, Федотова... У Антониони в «Забриски-пойнт» героиню спрашивают, о чем она сейчас думает. «Я думаю о мыслях», — отвечает умница. Это очень похоже на записные книжки Ерофеева. Но он сам творец своих миров, и потому в дневнике авторское слово сливается с речью персонажей и голосами культуры в прообраз той попутной песни, которую будет озвучен ныне бессмертный маршрут Москва — Петушки. Только здесь все обнаженнее, откровеннее, «расчехленнее»: «Я как Борис Годунов. Глад и мор и гнев народный и смуты, и терзания. Являются плюгавые, чернявые и энергичные Василии Шуйские, являются и плетут интриги. Являются юные Лжедмитрии. А я — только стискиваю голову, мечусь между Владимиром и Талдомом с вечным «Уф, тяжело! Дай дух переведу!». 1972 год, двадцать лет назад, что перестает удивлять, как только вспомнишь, кем писано.

Довлатов — экстраверт, человек из тусовки, матрица его сюжетов: «другие и я». Ерофеев — интроверт, человек из подполья, соответственно и маркировка оппозиции прямо противоположная: «я и другие». Короткие тексты Довлатова так и просятся в цитаты и эпиграфы. Воспроизведение записей Ерофеева сопряжено с безотчетным чувством неловкости, словно злоупотребляешь чужим доверием. При том, что оба писали летопись внутренней эмиграции в СССР. Довлатов — с установкой на городской и литературный фольклор, не изменившейся и после реальной эмиграции в Америку; последующая публикация мыслилась как естественный итог работы. Ерофеев — с установкой исключительно на жизнь своего внутреннего человека, хотя, строго говоря, для мыслящей личности работа духа как волевой акт такой же нонсенс, как обмен веществ по собственному желанию для всех прочих. Публикация исключалась априори, а что до «реальной эмиграции», то смертельно большого Ерофеева в разгар перестройки не выпустили в парижскую клинику, где его, может быть, спасли бы. «Если б не было такой земли — Москва», — как сказал по другому случаю один выездной поэт.

Андрей Белый в книге «Начало века» (глава не без изысканности названа «Музей паноптикум») рассказывает, как Зинаида Гиппиус

проповедовала «коммунизм» дневников: Мережковский и Гиппиус вписывали свои пассажи друг другу в тетради, и Белому рекомендовалось то же. Талантливому человеку такого предлагать нельзя. Представить себе обобществленный дневник Ерофеева и Довлатова — это даже не забавно. А между тем читать в метро не стоит ни довлатовские, ни ерофеевские записные книжки: на вас все равно обратят внимание, даже если вы не будете рыдать от смеха. И закроете вы эти такие разные книги с одним и тем же горьким чувством. Между ними, действительно, ничего общего, если не считать единственной текстуальной параллели. Ерофеев: «...Не доносить свои башмаки». Довлатов: «Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь — не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?» Разгадку высшей соприродности этих двух авторов содержит выписка из Людвиг Бёрне в ерофеевском дневнике: «Секрет сделаться писателем для умного и сердечного человека — прост: стоит присесть к столу и выложить на бумагу свою душу». Но почему Ерофеев ничего не добавил о таланте? Я думаю, ответ еще проще, чем вопрос.

«Не на трибуне тары-бары, а на бумаге мемуары. Да! Независимо от моды я воссоздам вот эти годы безжалостно, сердечно, сухо... Я буду честная старуха». Так говорит Татьяна Бек. Полагаю, она не одинока в своих замыслах. «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу», как заключил над спящим Отрепьевым честный старец, отец Пимен. Наверное, сегодня к этому труду более других пригодны те, кто органически не способен сбиваться в стаи — ни с «детьми Шарикова», ни с «детьми Швондера». Кто были порядочными людьми еще в те времена, когда Гайдар и Полторанин служили в «Правде», Бурбулис читал лекции по марксизму-ленинизму, Афанасьев искоренял либеральную ересь в «Коммунисте», а Ельцин твердо проводил линию партии на порученном участке. Потому что свидетель — гражданин нейтральной полосы.

Летом и осенью 1919 года Блок отбивается от попыток революционной власти определить к нему на постой в порядке уплотнения некоего бездомного матроса. В ту же пору в дневнике Зинаиды Гиппиус появляется ядовитое замечание, что, рассуждая по справедливости, Блоку таких подселенцев следовало бы целых двенадцать... Возмездие — это, конечно, не запись в чьем-то дневнике. Но она тоже возмездие, если эти строки мы помним донныне и будут помнить после нас.